



В. В. РОЗАНОВ

Поездка в Ясную Поляну (1908)

Быть русским и не увидеть гр. Л. Н. Толстого — это казалось мне всегда так же печальным, как быть европейцем и не увидеть Альп. Но не было случая, посредствующего знакомства и проч. Между тем годы уходили, и, не увидев Толстого скоро, я мог и вовсе не увидеть его. Тогда я написал ему о своем желании и, получив приглашение, поехал в Ясную Поляну. Это было зимою, года три тому назад¹. Больше я его никогда не видал, и передам впечатление почти только физическое. Хотя оно и не ограничилось физикою.

Дом в Ясной Поляне сделал на меня впечатление пустынное. Такое впечатление делает на меня всякий дом, где нет детей. Должны быть свои или дети детей — внуки. И как большой барский дом не шумел детскими криками, вознею и капризами, то мне казалось в нем скучновато. «Графов» еще не было, когда я приехал часу в 11-м или 10-м утра, а в столовой сидели один или два господина и, помнится, женщины. Но особенного они ничего собою не представляли. Я только был счастлив, что сижу в Ясной Поляне, т. е. идеей, что вот приехал, «достиг» и скоро увижу.

Да, я думаю, поблизости к Л-у Н-у Толстому и все должно показаться скучным, кроме него. Приехав в Альпы, станешь ли рассматривать холмы и пригорки?

Вошла графиня Софья Андреевна, и я сейчас же ее определил как «бурю». Платье шумит. Голос твердый, уверенный. Красива, несмотря на годы. Она их сказала на мое удивление — «58 лет и человек 14 (приблизительно) детей» (с умершими). Это хорошо и классично. Мне казалось, что ей все хочет повиноваться или не может не повиноваться; она же и не может и не хочет ничему повиноваться. Явно — умна, но несколько практическим умом. «Жена великого писателя с головы до ног», как Лир был

«королем с головы до ног». Но и это неинтересно, когда ожидаешь Толстого.

И вот он вышел. Но почему он такой маленький, с меня или немного больше меня ростом? Я ожидал большого роста — по портретам и оттого, что он — «Альпы». Кажется ли вам Авраам или Моисей «небольшого роста»? Микеланджело Моисей представлялся колоссом, как он изваял его; а может быть, в сущности, Моисей был плюгавым. Я замечал, что душа и тело, величие души и тела, тенденции души и тела и, наконец, красота души и тела находятся иногда во взаимном отрицании, во взаимном попираании. Но это — в идее. А когда увидишь — удивляешься.

И я внутренне удивлялся, когда ко мне тихо-тихо и, казалось, даже застенчиво подходил согбенный годами седой старичок. Автор «Войны и мира»! Я не верил глазам, т. е. счастью, что вижу. Старичок все шел, поднимая на меня глаза, и я тоже к нему подходил. Поздоровались. О чем-то заговорили, незначащем, житейском. Но мой глаз и мой ум все как-то вертелись не около слов, которые ведь бывают всякие, а около фигуры, которая явно — единственная.

«Вот сегодня посмотрю и больше никогда не увижу». И хотелось сказать времени: «Остановись», годам: «Остановитесь!.. Ведь он скоро умрет, а я останусь жить и больше никогда его не увижу».

Было печально и досадно, отчего я раньше не постарался его увидеть.

Мне он показался безусловно прекрасен. «Именно так, как ему должно быть». Только не здесь, не в барской усадьбе. Как все это не идет к нему, отлепилось от него! Сидеть бы ему на завалинке около села или жить у ворот монастыря — в хибарочке, «старцем»; молиться, думать, говорить, не с «гостями», а с прохожими, со странниками, — и самому быть странником. В самом деле, идея «Альп» была в нем выражена в том отношении, что в каком бы доме, казалось, он ни жил, «дом» был бы мал для него, несоизмерим с ним; а соизмеримым с ним, «идушим к нему», было поле, лес, природа, село, народ, т. е. страна и история. Он явно вышел, перерос условия видного индивидуального существования, положения в обществе, «профессии», художества и литературы. «Исповедь» его, по которой он *изо всего вышел*, — была в высшей степени отражена в его фигуре, которая явно тоже *изо всего вышла*, осталась одна и единственная, одинока и грустна, но велика и своеобразна.

Я еще раз посмотрел на пустые, далекие от великолепия комнаты. «Здесь не стала бы танцевать Анна Каренина». И мне пред-

ставилось, что если бы старец разрушил эту квартиру, этот дом, да и все вокруг, — разрушил без борьбы, собою («Мне ничего не нужно»), то *душа* вещей, та незримая душа, какая есть во всякой вещи, умерла бы в обстановке Толстого, почувствовав, что на нее не любителю хозяин. Так умирает верная собака, когда она не нужна хозяину. Все вещи стояли некрасиво; все вещи были некрасивы; чувствовалось, что им не хочется жить. «Скоро вынесут» — как бы говорила каждая про себя.

Человек — центр вещей. Здесь, «в центре», стоял человек, которому вещи были не нужны. И они рассыпались, потеряли гармонию, связанность, красоту, смысл. От этого незримого отталкивания рассыпался и «дом», хотя физически еще и продолжал удерживаться.

Л. Н. был одет в старый халат-пальто-шляфрок, подвязанный ремнем. Одежда на Толстом страшно важна: она одна гармонирует с ним, и надо бы запомнить, знать и описать, какие одежды он обычно носил. Это важнее, чем Ясная Поляна, от которой он давно отстал. В одежде было то же простое и тихое, что было во всем нем. Тишь, которая сильнее бури; нравственная тишина, которая неодолимее раздражения и ярости. Разве не тишиною (кротостью) Иисус победил мир, и полетели в пропасть Парфеноны и Капитолии, сброшенные таинственной *тишиною*?

Вот эта мировая тишина, особенная, многозначительная, религиозная, была и в Толстом. Не она ли есть то «неделание», которое представляется таким незначительным в его проповеди, т. е. незначительным в формуле; тогда как в *существовании* как *жизнь*, как *метод жизни*, она, конечно, ворочает горами. А мы, читая его бледные слова и не понимая, в чем дело, смеемся и отрицаем. И я смеялся и отрицал (в литературе); а когда *увидел*, то сказал: «Хорошо». Хорошо таким быть, хорошо бы *такому* *всему* быть. Зачем грозы, зачем бури, шум? Это не нужно и мелко.

Тишина — в ней бездонная глубь...

Я приехал не один. В комнате была и Софья Андреевна. И говорили, «как в обществе», ненужные, тяжелые, скучные речи. Это уже не были «Альпы», это были переулочки и пригорки в Женеве, близ Монблана.

Тут нечего было помнить, и я ничего не запомнил.

И обедал он как бы один и особо. Подавал лакей в перчатках, нам — мясное и яичницу, ему — кисель или кашу, что-то нетвердое и, конечно, беззубойное. Сидел он за одним столом, и смешиваясь и не смешиваясь с остальными. Через это отделение в пищу вообще он страшно отделился, удалился от людей, как наши сектанты, не едящие с «никонианами». Пища вообще есть большое

разделение или соединение людей, и разницу категорий людей можно узнать по охоте или неохоте, с которой они едят «вместе» или «одни». Евреи не едят тrefного, татары не едят свинины. Зато они «жрут» конину, которой мы не станем есть. «Новая религия» до известной степени начинается с «новой еды»; ведь и христианство пошло не только от Голгофы, но и от постов; или, точнее, Голгофа не ранее начала побеждать мир, как когда она соединилась с постом, нашла секрет действия на души людей в грибе, каше и супе. Теперь цивилизация всеядно-неопределенная и «стиль» эпохи потерян.

* * *

Кроме «Альп», был у меня и особенный мотив увидеть Толстого. Мне хотелось попросить его об одной вещи, которой я был особенно предан. Мне казалось, что это может выполнить только человек с всемирным авторитетом, коего *морально* обвинить ни у кого не подымутся язык и совесть. Дело шло об убийстве внебрачных детей — чему посвящены страницы «Воскресения», о чем явно глубоко и со страхом думал Толстой, тревожился об этом глубокою сердечною тревогою. И мне хотелось полуспросить его, полуупрекнуть его и полупопросить в том смысле: почему он, *всемирно моральный авторитет*, не отдает своих дочерей замуж «так», без венчания, чему был бы подан пример во всей Европе, и великий его авторитет санкционировал бы эту *абсолютно личную* и *абсолютно частную* форму брака, которая войдет в права общества, войдя в дух общества, она могла бы санкционировать вневенчанное рождение, а следовательно, и избавить вообще всяких детей от убийства. Для него это было явно последовательно, ибо внешние авторитеты он отверг; для дочерей его это явно было бы удобно: ибо необеспеченность и бедность одни гонят девушек в «законное супружество», плодящее Кит Китычей², они же обеспечены, всегда прокормятся и прокормят детей. Мне это представлялось около него, старца, как цветущий сад размножения — счастливый и благородный, идиллический и философский.

Сколько проблем было бы разрешено! И неужели этому препятствует то, что он «граф», «дворянин», «великий писатель»?.. Какие пустяки! Какой вздор перед Катюшей Масловой и судьбой ее ребенка, который «загорвел» и *умер!*³

Так я думал. Мне хотелось и просить, и спросить. Перед вечерним чаем, когда он (слабый и полубольной) позвал меня в кабинет к себе, я, однако, не выговорил своей темы. Но речь зашла (может быть, я завел, стараясь приблизиться к теме) — о поле, о

половой чистоте и нечистоте, о страстях и борьбе с ними, о супружестве. Было ли напряжение моей мысли велико в направлении мучившего меня недоумения, и это передалось ему, или от какой другой причины, но он мне, иллюстрируя свои объяснения, сказал, прямо ответив на мой вопрос.

Были и другие разговоры, более существенные и сложные. Все было хорошо. Все было высокопоучительно; я почувствовал, до чего разбогател бы, углубился и вырос, проведя в таких разговорах неделю с ним! Так много нового было и в движениях его мысли, и так было ново, поучительно и любопытно наблюдать его. Учился и из слов и из него. Он не давал впечатления морали, учительства, хотя, конечно, всякий честный человек есть учитель, — но это уже последующее и само собою. Я видел перед собою горящего человека, с внутренним шумом (тут уж «тишины» не было, но мы были уединены), бесконечным интересующегося, бесконечным владевшего, о веренице бесконечных вопросов думавшего. Так это все было любопытно; и я учился, наблюдал и учился.

Старик был чуден. Палкой, на которую он опирался, выходя из спаленки, он все время вертел, как флант, кругообразно, от уторопленности, от волнения, от преданности темам разговора. Арабский бегун бежал в пустыне, а за спиной его было 76 лет. Это было хорошо видеть. И когда он так хорошо говорил о русских, с таким бесконечным пониманием и чувством говорил о русском народе, думалось:

«Какой ты хороший, русский! Какой ты хороший, русский народ!»

Уверен (по словам его), что он *эту память* о себе, *эти слова* будущего о себе предпочел бы «вероучителю», «праведнику», «святому», как равно второму Будде, Соломону, Шопенгауэру (любимые имена в период «Исповеди») ⁴, за которые едва ли теперь цепляется. И вообще мне показалось, что я вижу точно то, чего и ожидал, — феномен природы — «Альпы». *Натура* Толстого — вот главное, «народ русский» в нем — вот существенное. Все остальное только «приложится», все другое — кружево около главного.

Натура эта, честная, благородная, — повела его и к проповеди или, точнее, к проповедям, которые были разны.

Натура из романиста сделала проповедника. «Это нужнее, а я хочу быть нужным народу».

Все у него из «натуры»... ⁵

А натура — от Бога... Из «отца с матушкой», из глубоких недр земли, из темных глубин истории. Ведь из этих глубин вышли и

Шопенгауэр, и Будда, и Соломон. Только Иисус не из этих глубин. И, не сливаясь с Шопенгауэром, Буддой и Соломоном, в Ясной Поляне прожил и живет четвертый около них, совсем другой, чем они, совсем на них непохожий, наш родной, мучительно-кровный; и он нам милее еврейских, немецких и индусских мудрецов.

Так я увидел «Монблан» нашей жизни. Был 10-й или 9-й час ночи. Подали лошадей, зазвенел колокольчик у крыльца.

Прощаясь, я поцеловал его и поцеловал его руку — ту благородную руку, которая написала «Войну и мир» и «Анну Каренину» и столько, столько еще, что, читая, мы были так счастливы и говорили про себя:

«Как хорошо, что я живу, когда живет он, не раньше, не до него: и вот теперь так счастлив за этими страницами художества, поэзии и мудрости».

